**Надежда Тэффи**

**Счастливая**

Да, один раз я была счастлива.  
 Я давно определила, что такое счастье, очень давно - в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива.  
 \* \* \*  
 Я помню: мне шесть лет, моей сестре - четыре.  
 Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли.  
 Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу.  
 Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.  
 И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег.  
 Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет.  
 Но мы - дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?  
 Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня - заплакать ей или нет?  
 И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.  
- Лена! - говорю я громко и весело.- Лена! Я сегодня видела конку!  
 Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка.  
 Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте,- а может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах,- и трубил в золотую трубу:  
- Ррам-рра-ра!  
 Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами.  
 Как расскажешь это все! Можно сказать только:  
- Лена! Я видела конку!  
 Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.  
 И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы?  
- Ррам-рра-ра!  
 Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу.  
 Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!

**И.С. Тургенев**

**Стихотворение в прозе «Милостыня»**

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову — и увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

—  Ты всё свое богатство роздал, — послышался ровный голос... — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

—  Не жалею, — ответил со вздохом старик, — только вот умираю я теперь.

—  И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

**Валентина Осеева**

**Бабка**

Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. «Всю квартиру собой заполонила!..» – ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему: «Старый человек... Куда же ей деться?» «Зажилась на свете... – вздыхал отец. – В инвалидном доме ей место – вот где!»

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку, как на совершенно лишнего человека.

Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: «Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку...»

Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора!» «Зачем?» – сонным голосом спрашивал Борька. «В школу зачем? Тёмный человек глух и нем – вот зачем!»

Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, бабка...»

В сенях отец шаркал веником. «А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них!»

Бабка торопилась к нему на помощь. «Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязны были, я их обмыла и поставила».

...Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стол сумку с книгами и кричал: «Бабка, поесть!»

Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает».

Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: «Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?» «Ела, ела, – кивала головой бабка. – Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава».

Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал: «Здравствуйте, бабушка!» Борька весело подтолкнул его локтем: «Идём, идём! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция». Бабка одёрнула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами: «Обидеть – что ударить, приласкать – надо слова искать».

А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: «А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная». «Как это – главная?» – заинтересовался Борька. «Ну, старенькая... всех вырастила. Её нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это». «Не взгреет! – нахмурился Борька. – Он сам с ней не здоровается...»

После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем мы тебя?» А родителям говорил: «Наша бабка лучше всех, а живёт хуже всех – никто о ней не заботится». Мать удивлялась, а отец сердился: «Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня – мал ещё!»

Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: «Вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растёт! Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьёте, то не вернёте».

\* \* \*

Борьку вообще интересовало бабкино лицо. Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами. «Чего это ты такая разрисованная? Старая очень?» – спрашивал он. Бабка задумывалась. «По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать. Горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала – ложились на лицо морщины. Нужду терпела, билась – опять морщины. Мужа на войне убили – много слёз было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет».

Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни – неужели всё лицо такими нитками затянется? «Иди ты, бабка! – ворчал он. – Наговоришь всегда глупостей...»

\* \* \*

За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у неё стала круглая, ходила она тише и всё присаживалась. «В землю врастает», – шутил отец. «Не смейся ты над старым человеком», – обижалась мать. А бабке в кухне говорила: «Что это, вы, мама, как черепаха по комнате двигаетесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад не дождёшься».

Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на полу – клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе готовый прибор.

На другой день бабку схоронили.

Вернувшись со двора, Борька застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами. «Мой ещё, – сказала она и низко наклонилась над сундуком. – Мой...»

На самом дне сундука загремела шкатулка – та самая, заветная, в которую Борьке всегда так хотелось заглянуть. Шкатулку открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём были тёплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шёлка – тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было написано большими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочёл: «Внуку моему Борюшке».

Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули: «Внуку моему Борюшке». В букве «ш» было четыре палочки. «Не научилась!» – подумал Борька. Сколько раз он объяснял ей, что в букве «ш» три палки... И вдруг, как живая, встала перед ним бабка – тихая, виноватая, не выучившая урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, побрёл по улице вдоль чужого длинного забора...

Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него распухли от слёз, к коленкам пристала свежая глина. Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придёт утром бабка!»

**Константин Паустовский**

**Барсучий нос**

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, - они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, - кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал - барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах - мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

**Татьяна Петросян**

**Записка**  
 Записка имела самый безобидный вид.  
 В ней по всем джентльменским законам должна была обнаружиться чернильная рожа и дружеское пояснение: "Сидоров - козёл".  
 Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание... и остолбенел.  
 Внутри крупным красивым почерком было написано: "Сидоров, я тебя люблю!".  
 В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал?  
 Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но главные враги Сидорова на сей раз почему-то не ухмылялись злорадно.(Как они обычно ухмылялись. Но на сей раз - нет.)  
 Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая глядит Воробьёва. Не просто так глядит, а со значением!  
 Сомнений не было: записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьёва его любит?!  
 И тут мысль Сидорова зашла в тупик и забилась беспомощно, как муха в стакане. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТ??? Какие последствия это повлечёт и как теперь Сидорову быть?..  
 "Будем рассуждать логически,- рассуждал Сидоров логически.- Что, к примеру, люблю я? Груши! Люблю - значит, всегда хочу съесть..."  
 В этот момент Воробьёва снова обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза её давно не стриженные... ну да, настоящие когти! Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьёва жадно догрызала костлявую куриную ногу...  
 "Нужно взять себя в руки, - взял себя в руки Сидоров. (Руки оказались грязными. Но Сидоров игнорировал мелочи.) - Я люблю не только груши, но и родителей. Однако не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки. Папа часто носит меня на шее. А я их за это люблю..."  
 Тут Воробьёва снова обернулась, и Сидоров с тоской подумал, что придётся ему теперь день-деньской печь для неё сладкие пирожки и носить её в школу на шее, чтобы оправдать такую внезапную и безумную любовь. Он пригляделся и обнаружил, что Воробьёва - не худенькая и носить её будет, пожалуй, нелегко.  
 "Ещё не всё потеряно,- не сдавался Сидоров.-Я также люблю нашу собаку Бобика. Особенно когда дрессирую его или вывожу гулять..." Тут Сидорову стало душно при одной мысли о том, что Воробьёва может заставить его прыгать за каждым пирожком, а потом выведет на прогулку, крепко держа за поводок и не давая уклоняться ни вправо, ни влево...  
 "...Люблю кошку Мурку, особенно когда дуешь ей прямо в ухо...- в отчаянии соображал Сидоров,- нет, это не то... мух люблю ловить и сажать в стакан... но это уж слишком... люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри..."  
 От последней мысли Сидорову стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твердым почерком вывел грозные слова: "Воробьёва, я тебя тоже люблю". Пусть ей станет страшно.

**Ганс Христиан Андерсен**

**Девочка со спичками**

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году - канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях?

Туфли эти прежде носила ее мать - вот какие они были большие,- и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем - ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась!

Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка. Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, - и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной

рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

"Кто-то умер", - подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падет звездочка, чья- то душа отлетает к Богу".

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

- Бабушка, - воскликнула девочка, - возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко - туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, - они вознеслись к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах - улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

- Девочка хотела погреться, - говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

**Ирина Пивоварова**

**О чём думает моя голова**

Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная. Но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами.

 Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. А она не решается. Я говорю маме:

— Мам, а у меня задачка не получается.

— Не ленись, — говорит мама. — Подумай хорошенько, и всё получится. Только хорошенько подумай!

Она уходит по делам. А я беру голову обеими руками и говорю ей:

— Думай, голова. Думай хорошенько… «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну, думай, пожалуйста! Ну что тебе стоит!

 За окном плывёт облачко. Оно лёгонькое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывёт дальше.

Голова, о чём ты думаешь?! Как тебе не стыдно!!! «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы её, конечно, простила. Но разве она подойдёт, такая вредина?!

 «…Из пункта А в пункт Б…» Нет, она не подойдёт. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмёт под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки.

«…Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» А я что сделаю?.. А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает? Ага, она поставит пластинку «Три толстяка». Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить её, чтобы она дала им послушать. Сто раз слушали, всё им мало! И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку.

 «…Из пункта А в пункт… в пункт…» А я тогда возьму и запульну чем-нибудь прямо в её окно. Стекло — дзинь! — и разлетится. Пусть знает.

 Так. Я уже устала думать. Думай не думай — задача не получается. Просто ужас какая задачка трудная! Вот погуляю немножко и снова стану думать.

Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классики. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська на меня даже не посмотрела.

— Серёжка! Витька! — закричала сразу Люська. — Идёмте в лапту играть!

Братья Кармановы выглянули в окно.

— У нас горло, — хрипло сказали оба брата. — Нас не пустят.

— Лена! — закричала Люська. — Лен! Выходи!

Вместо Лены выглянула её бабушка и погрозила Люське пальцем.

 — Павлик! — закричала Люська.

В окне никто не появился.

— Пе-еть-ка-а! — надсаживалась Люська.

— Девочка, ну что ты орёшь?! — высунулась из форточки чья-то голова. — Больному человеку отдохнуть не дают! Покоя от вас нет! — И голова всунулась обратно в форточку.

 Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела как рак. Она подёргала себя за косичку. Потом сняла с рукава нитку. Потом посмотрела на дерево и сказала:

 — Люсь, давай в классики.

 — Давай, — сказала я.

 Мы попрыгали в классики, и я пошла домой решать свою задачу.

 Только я села за стол, пришла мама:

 — Ну, как задачка?

— Не получается.

— Но ведь ты уже два часа над ней сидишь! Это просто ужас что такое! Задают детям какие-то головоломки!.. Ну давай показывай свою задачу! Может, у меня получится? Я всё-таки институт кончала. Так. «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» Постой, постой, что-то эта задача мне знакома! Послушай, да ведь вы её в прошлый раз вместе с папой решили! Я прекрасно помню!

  — Как? — удивилась я. — Неужели? Ой, правда, ведь это сорок пятая задача, а нам сорок шестую задали.

 Тут мама страшно рассердилась.

 — Это возмутительно! — сказала мама. — Это неслыханно! Это безобразие! Где твоя голова?! О чём она только думает?!

**Александр Грин**

**Алые паруса**

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась

миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора во двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипеньем всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уже которая начинала трещать — яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от неё, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому

кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, — она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!»

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка, — все двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. —

Вот я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами.

Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета» — всё было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя.

Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад.

И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки, и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

— Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? — сказала она.

— Да. — И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

**Евгений Пермяк**

**Хитрый коврик**

Умной Машенька росла, да не все понимала.

Пошла она как-то в лес и ужалилась о Крапиву.

— Ах ты, такая-сякая, колючая. Зачем только ты на свете живешь? Один вред от тебя!

А Крапива рассмеялась на это и сказала:

— Так и о пчеле можно только по жалу судить. А пчела ведь еще и мед дает.

Тут Маша как крикнет на весь лес:

— Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать!

— Вот что, — говорит Крапива, — приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю.

Не верилось Машеньке, что у Крапивы можно ума-разума набраться, но пришла. А вдруг да Крапива что-то дельное скажет?

А Крапива пожелтела по осени. Состарилась. Голос у нее стал скрипучий, жесткий.

— Добудь, Машенька, рукавички, — говорит Крапива, — да выдергай меня и свяжи в пучки.

Надела Машенька рукавички, выдергала Крапиву и связала в пучки.

— А теперь, — говорит Крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши.

Вымочила Маша Крапиву, подсушила и спрашивает:

— Еще что придумаешь?

— Теперь, — говорит Крапива, — ломай мои стебли, мни, выколачивай из них лишнее… А дальше сама увидишь…

Опять Машенька сделала все то, что Крапива просила, и получилось длинное, прочное крапивное волокно.

Задумалась Маша, а потом решила: коли есть волокно, из него можно нитки спрясть.

Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик выткать. Выткала она коврик и вышила на нем зелеными нитками молодую веселую крапиву.

Повесила Маша коврик на стенку и сказала:

— Спасибо тебе, Крапива, что ты мне ума-разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не все на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется.

И стала с тех пор Маша обо всем думать, во все вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.

**Александр Фадеев**

**Молодая гвардия (Руки матери)**

…Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках.  А в темные жилочки.

  С того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, как ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили не пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра в коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «Бе-а-ба, ба-ба».

Я помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела – пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы ни сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они не погнушались.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была возле меня, и ночник горел в комнате, ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Оглянись и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, - не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости…

**Ю. Коваль**

**Дед, баба и Алеша**

Заспорили дед да баба, на кого похож их внук.

Баба говорит:

-  Алёша на меня похож. Такой же умный и хозяйственный.

Алёша говорит:

-  Верно, верно, я весь в бабу. Дед говорит:

-  А по-моему, Алёша на меня похож. У него такие же глаза -  красивые, чёрненькие. И наверно, у него такая же борода большая вырастет, когда Алёша и сам вырастет.

Алёше захотелось, чтоб у него выросла такая же борода, и он говорит:

-  Верно, верно, я больше на деда похож. Баба говорит:

-  Какая борода большая вырастет, это ещё неизвестно. Но Алёша на меня куда сильнее похож. Он так же, как я, любит чай с мёдом, с пряниками, с вареньем и с ватрушками с творогом. А вот как раз самовар поспел. Сейчас посмотрим, на кого больше похож Алёша.

Алёша подумал немного и говорит:

-  Пожалуй, я всё-таки сильно на бабу смахиваю.

Дед почесал в затылке и говорит:

-  Чай с мёдом это ещё не полное сходство. А вот Алёша точно так же, как я, любит лошадь запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас заложим санки да поедем в лес. Там, говорят, лоси объявились, сено из нашего стожка щиплют. Надо поглядеть.

Алёша подумал-подумал и говорит:

-  Знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня -  на тебя. Вот сейчас чаю попью и сразу на тебя похож буду.

И пока пил Алёша чай, он точно так же прикрывал глаза и отдувался, как бабушка, а уж когда мчались на санках в лес, точно так, как дед, кричал: «Но-ооо, милая! Давай! Давай!» - и щёлкал кнутом.

**Виталий Бианки**

**ОДИНЕЦ**

**ЧАСТЬ I**

**Глава 1**

**ОДИН ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ**

Лось низко опустил голову, грозя поднять на рога каждого, кто приблизится к нему спереди. Задом он прижался к двум сросшимся у корня деревьям – и был надежно защищен с тыла.

Собаки обступили его полукругом. Их было три, и любая из них могла схватиться один на один с волком.

Ощетинив шерсть, захлебываясь от злобы лаем, они когтями рвали под собой землю. Они ждали только удобного момента, чтобы, подскочив, вцепиться зверю в горло, в спину, повиснуть на нем, зубами рвать живое мясо.

Ни одна из них, однако, не отваживалась переступить невидимую черту, за которой – они знали – встретят их страшные рога лося. Что их волчьи зубы против неимоверной силы этого лесного богатыря?!

Жутко поблескивающие глаза лося ловили каждое их движение. Тяжело вооруженная голова делала чуть заметный поворот, как только одна из них подскакивала на шаг ближе.

Исступленным лаем собаки старались скрыть свой страх. Все три были умны и опытны, ни одна не хотела лезть на верную смерть. В конце концов, их дело ведь только задержать зверя, не дать ему ходу, не пустить в чащу. Они вовсе не обязаны хватать его за горло, пока он не ранен. Пусть расправляется со зверем тот, кто идет за ними.

Но лось хорошо понимал, где таится главная опасность. Едва между деревьями мелькнул человек, он разом подался вперед.

Три разъяренных собаки одновременно кинулись на него: две спереди, одна сзади – вцепиться и удержать.

Но это был только ловкий прием: зверь быстро отпрянул, а распаленные его мнимым испугом собаки неудержимо ринулись вперед. И на одно мгновенье очутились ближе к нему, чем позволяла мудрая осторожность.

Лось двинул рогами – и первая собака высоко взметнулась в воздух. Ударил ногами – и вторая, как распоротый мешок, свалилась на землю, обливаясь кровью.

Тогда лось опрокинул рога на спину, взял с места широкой, размашистой иноходью и, не глядя на уцелевшую собаку, двинулся в чащу.

Свое громадное тридцатипудовое тело он нес на бегу легко и плавно. Его бег был стремителен и прям, как бег стального паровоза по рельсам.

В последний миг выскочил из-за деревьев охотник. Перед ним мелькнули высокие белые ноги, горбатый загривок, сухой опущенный крестец, – и зверь врезался в плотную заросль, легко раздвигая грудью тугие ветви, ломая деревца. Собака метнулась за ним, но упругие руки чащи отбросили ее назад.

Охотник опустил бесполезное ружье: громадный лесной зверь исчез в чаще так же бесследно, как исчезает в темной глубине моря выскользнувшая из рук рыба. Не догонять же его в непроходимой заросли.

Охотник подошел к лежавшим на земле собакам. У одной был проломлен череп. У другой из широко распоротого живота вывалились на траву все внутренности. Обе уже не дышали.

У охотника помутнело в глазах.

Он прислонился к дереву. Отчаяние его охватило…

**Виктор Драгунский**

**Денискины рассказы.**

**... бы**

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно.   
 Во-первых, я представляю себе, как бы маме "понравилась" такая история, что я хожу и командую ею как хочу, да и папе небось тоже бы "понравилось", а о бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я все бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:   
"Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! - И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: - Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!"   
 И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:  "Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так. Теперь садись к столу".   
 Он бы сел и потихоньку сказал маме:  "Ну как поживаешь?"   
 А она бы сказала тоже тихонько:  "Ничего, спасибо!"   
 А я бы немедленно:  "Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило! Папа! Положи сейчас же газету, наказание ты мое!"   
 И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил:  "Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла! А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка! Убери ее сейчас же с моих глаз - на черный ход!"   
 Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: "После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!"   
 Конечно, они бы сейчас же заныли и захныкали:  "И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!"   
 А я бы им:  "Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам вот тридцать копеек на мороженое, и все!"   
 Тогда бы бабушка взмолилась: "Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!"   
 Но я бы увильнул, я сказал бы:  "А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена!"   
 И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы...   
 Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:   
- Ты еще сидишь. Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!

**Лев Толстой**

**Птичка**

Был Серёжа именинник, и много ему разных подарили подарков: и волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Серёже сетку, чтобы птиц ловить.

Сетка сделана так, что на рамке приделана дощечка, и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка подвернётся, и сетка сама захлопнется.

Обрадовался Серёжа, прибежал к матери показать сетку. Мать говорит:

– Не хороша игрушка. На что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь?

– Я их в клетки посажу. Они будут петь, и я их буду кормить!

Достал Серёжа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И всё стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку.

Пошёл Серёжа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка захлопнулась, и под сеткой бьётся птичка. Серёжа обрадовался, поймал птичку и понёс домой.

– Мама! Посмотрите, я птичку поймал, это, верно, соловей! И как у него сердце бьётся.

Мать сказала:

– Это чиж. Смотри же, не мучай его, а лучше пусти.

– Нет, я его кормить и поить буду. Посадил Серёжа чижа в клетку, и два дня сыпал ему семя, и ставил воду, и чистил клетку. На третий день он забыл про чижа и не переменил ему воды. Мать ему и говорит:

– Вот видишь, ты забыл про свою птичку, лучше пусти её.

– Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и вычищу клетку.

Засунул Серёжа руку в клетку, стал чистить, а чижик, испугался, бьётся об клетку. Серёжа вычистил клетку и пошёл за водой.

Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему:

– Серёжа, закрой клетку, а то вылетит и убьётся твоя птичка!

Не успела она сказать, чижик нашёл дверцу, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку, да не видал стекла, ударился о стекло и упал на подоконник.

Прибежал Серёжа, взял птичку, понёс её в клетку. Чижик был ещё жив, но лежал на груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал. Серёжа смотрел, смотрел и начал плакать:

– Мама! Что мне теперь делать?

– Теперь ничего не сделаешь.

Серёжа целый день не отходил от клетки и всё смотрел на чижика, а чижик всё так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Серёжа пошёл спать, чижик ещё был жив. Серёжа долго не мог заснуть; всякий раз, как он закрывал глаза, ему представлялся чижик, как он лежит и дышит.

Утром, когда Серёжа подошёл к клетке, он увидел, что чиж уже лежит на спинке, поджал лапки и закостенел.

 С тех пор Серёжа никогда не ловил птиц.

**Михаил Пришвин**

**Лягушонок**

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три — и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгли. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки - прыгунки разлетелись в разные стороны.  
В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки-паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.  
Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать.  
След вначале был прямой, лапка за лапкой к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.  
Что случилось? Почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?  
Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим: сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.  
Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда-сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.  
В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.  
Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься! Не больше часу прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.  
Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:  
— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

**Константин Дмитриевич Ушинский  
Слепая лошадь**

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.  
 Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно всё, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче.

В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра — так прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади.  
 Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки.  
 Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за узду.  
 Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня?  
Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев.  
 Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю.

Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса.  
 Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени.  
 С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.  
 Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере.  
 Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шел.

Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор.  
 Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется.  
Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и удивились, увидя посреди площади бедного коня — слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом.  
 Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол.

Потребовали на площадь неблагодарного купца; несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади…

**Валентина Осеева**

**Волшебное слово**

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. — Подвиньтесь,— сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: — С тобой что-то случилось? — Ну и ладно! А вам-то что?— покосился на него Павлик.

 — Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то... — Ещё бы!— сердито буркнул мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому. — Убежишь? — Убегу! Из-за одной Ленки убегу.— Павлик сжал кулаки.— Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски не даёт! А у самой сколько! — Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит. — Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала... прямо тряпкой, тряпкой... Павлик засопел от обиды. — Пустяки!— сказал старик.— Один поругает, другой пожалеет. — Никто меня не жалеет!— крикнул Павлик.— Брат на лодке едет кататься, а меня не берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку залезу!» Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. — Что же, не берёт тебя брат? — А почему вы всё спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду: — Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... Павлик раскрыл рот. — Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо  в глаза тому, с кем говоришь. Помни — тихим голосом, глядя прямо в глаза... — А какое слово? Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: — Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. — Я попробую,— усмехнулся Павлик, — я сейчас же попробую.— Он вскочил и побежал домой. Лена сидела за столом и рисовала. Краски — зелёные, синие, красные — лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обманул старик!— с досадой подумал мальчик.— Разве такая поймёт волшебное слово?!..» Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: — Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она смущённо пробормотала: — Какую тебе? — Мне синюю,— робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал её в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове.

 «Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал: — Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста. Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. — Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой!— приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её в обе щеки. «Волшебник! Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: — Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. — Возьми его, — вдруг сказала сестра. — Что тебе стоит! — Ну, отчего же не взять? — улыбнулась бабушка. — Конечно, возьми. — Пожалуйста, — повторил Павлик.

 Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы: — Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! «Помогло! Опять помогло!» Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.

**Георгий Скребицкий**

**Осень**

**(Рассказ из книги «Четыре художника»)**

Для своей работы художник - Осень взяла самые яркие краски и прежде всего отправилась с ними в лес. Там и принялась за свою картину.

Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной желтизной. А листья осинок разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко - красный, весь как огонь горит.

Забрела Осень на лесную поляну. Стоит посреди неё дуб - богатырь, стоит, густой листвой потряхивает. «Могучего богатыря нужно в медную кованую броню одеть». Так вот и обрядила старика.

Глядит – а неподалёку, с края поляны, густые, развесистые липы в кружок собрались, ветви вниз опустили. «Им больше всего подойдёт тяжёлый убор из золотой парчи».

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, по-осеннему: кого в жёлтый наряд, кого в ярко-красный... Одни только сосны да ели не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а игры, их и не разрисуешь. Пусть как были летом, так и останутся.

Вот и остались сосны да ели по-летнему тёмно-зелёными. И от этого ещё наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем уборе.

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала с полей золотые хлеба, свезла на гумна, а в лугах душистые копны сена сметала в высокие, словно башни, стога.

Опустели поля и луга, ещё шире, просторнее стали. И потянулись над ними в осеннем небе косяки перелётных птиц: журавлей, гусей, уток... А там, глядишь, высоко-высоко, под самыми облаками, летят большие белоснежные птицы – лебеди, летят, машут крыльями, словно платками, шлют прощальный привет родным местам.

Улетают птицы в тёплые страны. А звери по-своему, по-звериному, к холодам готовятся.

Колючего ёжика Осень загоняет спать под ворох сучьев, барсука – в глубокую нору, медведю стелет постель из опавших листьев. А вот белочку учит сушить на сучьях грибы, собирать в дупло спелые орехи. Даже нарядную сизокрылую птицу-сойку заставила проказница - Осень набрать полон рот желудей и запрятать их на полянке в мягкий зелёный мох.

Осенью каждая птица, каждый зверёк хлопочут; к зиме готовятся, некогда им даром время терять.

Спешит, торопится Осень; всё новые и новые краски находит она для своей картины. Серыми тучами покрывает небо. Смывает холодным дождём пёстрый убор листьев. И на тонкие телеграфные провода вдоль дороги, будто чёрные бусы на нитку, сажает она вереницу последних отлетающих ласточек.

Невесёлая получилась картина. Но зато есть и в ней что-то хорошее. Довольна Осень своей работой.

**Виктор Астафьев**

**Капалуха**

Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу.

Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой берёзки и осинки да меж деревьев развёртывал свитые улитками ветви папоротник.

Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник.

В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым доцветающим черничником. Зелёные пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые былиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнётся увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается чёрной с седоватым налётом.

Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветёт она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников.

У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами.

Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка (охотники чаще называют её капалухой).

— Гнездо! Гнездо! — кричали ребята. Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда нигде не видел.

— Да вот же, вот! — показали ребятишки на зелёную корягу, возле которой я стоял.

Я глянул, и сердце моё забилось от испуга — чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем. Обросшая мхом со всех сторон и сверху тоже, затянутая седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке утеплённое мхом гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем — оно было тёплое, почти горячее.

— Возьмём! — выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною.

— Зачем?

— Да так!

— А что будет с капалухой? Вы поглядите на неё!

Капалуха металась в стороне. Крылья у неё всё ещё разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и закостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у неё голый вплоть до шейки и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце.

— А пух - то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам, — сказал подошедший учитель.

— Это как наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё-всё, каждую капельку... — грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись этих нежных слов, произнесённых впервые в жизни, недовольно крикнул: — А ну пошли стадо догонять!

И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза её уже не следили за нами. Они целились на гнездо, и, как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла.

Глаза её начали затягиваться дрёмной плёнкой. Но вся она была настороже, вся напружинена. Сердце капалухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может, и через несколько дней появятся головастые глухарята.

И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая отдает детям всё, иной раз даже жизнь свою.